

УДК 821.10.02

*Абрамович С.Д.*  
(Черновцы, Украина)

### ЧААДАЕВ: ПРОСТРАНСТВО ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ

*Статтю присвячено питанню про зумовленість духовної позиції П.Я. Чаадаєва форматом давньої російської літератури.*

**Ключові слова:** Чаадаєв, християнство, давня російська література.

*Статья посвящена вопросу об определенности духовной позиции П.Я. Чаадаева форматом древней русской литературы.*

**Ключевые слова:** Чаадаев, христианство, древняя русская литература.

*The article is devoted to the question of predestination of P. Chaadaev's spiritual position by the format of ancient Russian literature.*

**Keywords:** Chaadaev, Christianity, ancient Russian literature.

Чаадаева трудно назвать любимцем историков русской литературы: более им занимаются (лучше сказать, когда-то занимались) историки общественной мысли. Новых литературоведческих исследований об этом интереснейшем человеке почти нет, и порой создается впечатление, что ярлык «сумасшедшего», наклеенный Николаем I, все еще незримо работает. Ну, скажите на милость, был чудак такой: объявил, что у России нет ни истории, ни будущего; что лучшее христианство – католицизм; ничего такого как бы и не написал: «Философические письма» – это же не роман и не поэма, а так – рассуждения, да и читал ли их кто вообще, эти самые «Философические письма»? Где его последователи, школа, движение? Словом, «а был ли мальчик»?

Более того, появляются публикации, в которых на личность Чаадаева снова, как во времена царствования Николая Павловича, кладется густая тень. Так, Л. А. Белова в статье под выразительным заголовком «Что за человек был Чаадаев?», стремится развенчать этого самого человека, исходя из той благородной предпосылки, что российский гражданин в здравом уме никогда бы не предложил Отечеству путь католицизма, запятнавшего себя кострами инквизиции. Весьма пристрастно анализируя поступки Чаадаева и, в частности, размышляя «над причинами «смелости» человека, по натуре своей далеко не смелого», Л. А. Белова приходит к формуле крайне нелицеприятной: «На мой взгляд, вывод тут напрашивается только один: непомерная гордыня и жажда славы на время пересилили в Петре Яковлевиче все — даже инстинкт самосохранения» [1, с. 27]. Остается вывести из подтекста извечное российское: *А не высовывайся!*

© Абрамович С.Д., 2012

Хотелось бы, не заявляя, будто в данной работе открывается что-либо принципиально новое, привлечь внимание к фактам жизни и творчества Чаадаева и переакцентировать все эти установившиеся оценки, дать несколько новый ракурс видения его роли в русской литературе.

При этом Чаадаев будет понятен лишь в контексте эпохи, и все же – как человек, имевший смелость идти наперекор сложившимся мнениям и стереотипам. Вот, скажем, он увольняется из армии в 1817-м, смутив своим поступком самого императора Александра. Мотивов называли много, но, похоже, подлинный мотив изложен в письме Чаадаева к тетушке: «Мне было приятно выказать пренебрежение людям, пренебрегающим всеми» (письмо А. М. Щербатовой от 2 января 1821). В зрелом возрасте он, объявленный сумасшедшим, выступает как бы живым укором своей среде. А. И. Герцен, упоминая о его «печальной и самобытной фигуре» на «линючем» фоне московской знати, вспоминает, как однажды некий благонамеренный магистр университета объявил поведение Чаадаева «гнусным» и поспешил заявить, что не уважает такого человека. Герцен, который, конечно же, знал Чаадаева как человека лучше, чем этот магистр или даже Л. А. Белова, естественно, не смолчал, будучи, как и Чаадаев, с «подлой властью» несогласным («я его всегда любил и уважал и был любим им; мне казалось неприличным пропустить дикое замечание»). К словам Герцена присоединился и Белинский, который, к ужасу салона, сообщил магистру, что тот достоин гильотины» [2, сс. 23, 24, 26].

Принято, однако, рассматривать противостояние Чаадаева николаевскому режиму единственно в контексте формирования в России гражданского общества, бурления общественного мнения, формирования разных духовно-культурных ориентаций, зарождения будущей дихотомии «западники – славянофилы». Да, эпоха была исполнена духа героики и борьбы. В новый, XIX век русское общество вступало с надеждой на некое обновление жизни. Возникающие друг за другом в начале XIX века, словно по мановению волшебной палочки, литературные общества и журналы отразили не просто состояние духа, типичное для всякого fin de siècle: после испытаний наполеоновских войн воспрянуло стремление к свободе мысли и слова. По окончании этих войн Россия, истерзанная нашествием двенадцати языков, переживала годину своего величайшего торжества. Александр I мыслился триумфатором: «Он взял Париж...», – признаёт недолюбивавший царя Пушкин. Реставрация монархической Европы без участия России никак не состоялась бы. В мощной волне патриотического подъема как-то ступшеывались очевидные несоответствия: с одной стороны, с Александром связывались надежды на либерализацию; с другой – «корсиканское чудовище» как бы сулило куда более радикальные перемены (вспомним парадокс Андрея Болконского: он воюет против Наполеона и в то же время Наполеоном восхищается). Пребывание русских на территориях Запада стало источником глубокой рефлексии, и не только в среде радикально настроенного офицерства, будущих декабристов, но даже на самом низовом уровне. В знаменитой прокламации эпохи ситуация очерчена лапидарно: *мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа!*

Не станем, вслед за Лениным, охватывать многоголосицу ропота эпохи огрубляющим понятием «декабристский период освободительного движения», но нельзя не признать, что в обществе ожидали, как это заведено в России искони, перестройки, а не «закручивания гаек». Перестроечное настроение имело свои корни. Совсем недавно, при Екатерине, затеяна была игра с журналистикой, да быстро окончилась, когда «Всякой

всячине», журналу императрицы, пытавшемуся стать камертоном ситуации, стали было всерьез возражать. А вот сейчас между полюсами суровой шишковской «Беседы» и беспутной «Зеленой лампы» вдруг сформировался необычный для России духовно-эстетический плюрализм, «дней александровых прекрасное начало». Недолгая ему была суждена жизнь. Декабристский бунт, при всей его беспомощности, обнажил потенциальную опасность разрушения вещей стабильных и привычных, что четко и недвусмысленно сформулировано в юношеском послании Пушкина к Чаадаеву: «и на обломках самовластия Напишут наши имена». И правление Николая I, с самого начала напуганного возможностью падения самодержавия, не оставило надежд на какую-либо либерализацию, а «чугунный устав» цензуры поставил крест на ожиданиях «свободы слова».

В этом контексте личность и духовная позиция Чаадаева выступают в трагическом измерении полного одиночества. Никакие социальные подставки в данном случае не работают, и помещать его в ряд единомышленников Белинского и Герцена, при всем трепетном отношении последних к его личности, нельзя.

Близкие к нему люди – декабристы, да и сам Пушкин, вдохновлявшиеся чаще всего революционаристскими идеями французского масонства, – полны молодой веры в себя, в свое призвание владеть миром и изменять его. Вчитаемся еще раз во вдохновенные строки юного Пушкина, адресованные лично Петру Яковлевичу:

Но в нас горит еще желание,  
Под гнетом власти роковой  
Нетерпеливою душой  
Отчизны внемлем призыванье.  
...  
Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы!

Это – голос сына эпохи, голос детей Проекта Модерна, отрицающего всевластие Бога, проникнутого верой в торжество человека и вдохновенно строящего новое, свободное и секуляризованное общество: вся проблема лишь в том, «просвещенному монарху» или всем достойным «гражданам» надлежало бы править в сией утопии? Схватка в Европе бывала по такому поводу не на жизнь, а на смерть; скагывались на эшафоты коронованные и некоронованные головы; революционеры превращались в тиранов; искусство колебалось между классицистским полюсом гражданственности и долга перед тронem – и романтическим полюсом своеволия и разрушения. Император Николай много сил положил, чтобы истребить худые ростки, зараженную поросль, и пересадить в придворную почву все сколько-нибудь ценное: одна его борьба за Пушкина чего стоит.

Что было делать Чаадаеву, человеку, мыслящему не только современно, но и глубоко? Примкнуть к той или иной политической силе?

Он был храбрый солдат, не уклонившийся от участия в баталиях: сражался под Тарутиным и при Малоярославце, воевал в Германии, участвовал во взятии Парижа. Поддался

было общему поветрию времени, как бы требовавшего от развитой личности свершений и деяний. В 1814 году Чаадаев был принят в Кракове в масонскую ложу «Соединенных братьев», но вышел из нее сам, еще в 1821 г., за год до того, как масонство в России было запрещено. То же и с декабристским движением: в 1819 году Чаадаев принят в «Союз благоденствия», в 1821 – в «Северное общество», но участия в их делах не принимает. А когда его арестуют в 1826 году по подозрению в причастности к движению, он будет энергично отрицать свое участие и через месяц с небольшим – отпущен. Наилучшим образом отношение Чаадаева к декабристам характеризует его мнение: они отодвинули Россию на полвека назад.

Чаадаеву ли на его тогдашнем уровне нравственного развития было уповать на военное и политическое насилие? «В годы до 1823-го у Чаадаева произошел первый духовный кризис – в сторону религиозную. Чаадаев, и до того времени много читавший, увлекся в это время мистической литературой...» (В. Зеньковский). Вскоре, уже став известным как автор «Философических писем», Чаадаев прямо назовет себя «христианским философом». Отчизна же христианина – Царство Небесное, а не стогны града земного.

Для Пушкина или декабристов слово «родина» наполнено исключительно «земным» смыслом. А после победы над Наполеоном, в момент радостный и оптимистический, извечный вопрос: как, о как же обустроить Россию?! – ставится уже всерьез – если можно считать серьезным предприятием путч «ста прапорщиков, желающих переменить государственный строй России»!

Очевидная слабость русской оппозиции в 1825 году и глухое равнодушие массы народа к ее порывам определили заранее победу Николая, в этической системе которого православие мыслилось не столько как путь в небо, сколько как составляющая чисто земного, общественного благосостояния – наряду с «самодержавием» и «народностью». Свободно-мистические элементы христианства, популярные при Александре, изгладилась совершенно. Церковь легко вернулась к привычному трепету перед властью.

Понятно, что после Ивана Грозного, решительно показавшего обществу, что библейский принцип «священство выше царства» – не для наших палестин, русский люд церковный столетиями жил в великом страхе перед властью, большой и малой (дворянская приговорочка времен раскола: *бей попа, что собаку, лишь бы жив был!*). Ликвидация церковной самостоятельности при Петре I закончила дело Ивана Грозного. К началу XIX века во главе Синода стоял, как было с петровской поры заведено, назначаемый императором светский чиновник; синодальная присяга Господу же с клятвой крайнего Судии Духовных сея Коллегии быти Самого Всероссийскаго Монарха Государя нашего всемилостивейшаго». Епископат уже с конца XVIII века был на штатном жалованье, кормление непосредственно от народа закончилось, и отчет давался только власти.

Николай I был, кто спорит, в самом деле «православный государь и верующий христианин» [4]. И он заботился о своей послушной церкви. В целях улучшения содержания духовенства был усилен надел церковью землями, значительно увеличились государственные расходы на церковные нужды; в частности, ассигнования Синоду были увеличены вдвое; в 1839 г. было приказано перейти в православие униатам Юго-Западной Руси (1,6 млн чел.!). Церковь благодарила – устами митрополита Московского Филарета: «Про-

славим, россияне, Господа, в руке которого власть земли <...> Воистину благопотребного воздвигнул он благочестивейшего самодержца нашего Николая Павловича <...> благопотребного для многих царств и народов, чтобы силою правды и правдою силы и за пределами своей державы поддерживать законную власть и порядок» (конкретно имелось в виду подавление русскими войсками венгерской революции 1848 года)...

Что ж, предоставим слово современному историку: «Опыт также показал, что государственная опека над православным духовенством вряд ли была ему на пользу. Она привела к стагнации церковной жизни, снижению религиозности православного населения. Эти проблемы убеждали власти в необходимости пересмотра традиционной линии политики» [3, с.1].

И каково было мыслящему и чувствующему человеку эпохи, ощущающему в душе пристальный взор Всевидящего Ока, воспринимать состояние Святого Православия российского? Довольно сказать, что старинный византийский цезарепапизм дошел здесь до геркулесовых столпов, и личность Кесаря земного затмила Лик Царя Небесного; Глава Церкви Иисус Христос – фактически отправлен был Тютчевым исходить в рабском виде низовые, крестьянские пространства Святой Руси: на верхушке же церковного организма установилось полное господство Кесаря.

Менее всего Чаадаев склонен был в своей критике православия к эпатажу или субъективному «бунту»: «...большинство обрядов христианской религии, проистекающее из высшего разума, является действенной силой для каждого, способного проникнуться выраженными в них истинами. Есть только одно исключение из этого правила, имеющего безусловный характер, – а именно, когда обретаешь в себе верования более высокого порядка, нежели те, которые исповедуют массы... Но горе тому, кто принял бы иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего разума за необычайное озарение, освобождающее от общего закона» (1-е Философическое письмо).

Католицизм Чаадаев рассматривает как формирующее начало западной цивилизации, причем обнаруживает склонность к системному мышлению: по его мнению, все очевидные успехи Запада – сферы материальной цивилизации, права, науки, искусств – строятся на базе религии (здесь русский мыслитель предвзвешивает современные культурологические концепции; достаточно вспомнить имя Хантингтона). При этом он употребляет формулу «политическая религия», имея в виду необычайно активную, жизнетворящую функцию католицизма. И, поскольку христианство в глазах Чаадаева – в первую очередь возрастание, развитие человека, то он полагает западную церковь наиболее полно представляющей такого рода возможности. Особенно важно, по мнению Чаадаева, то, что католицизм способен обуздать своеволие личности<sup>2</sup>. Согласно Чаадаеву, Схизма – раскол, произведенный Византией, вывела Россию из сферы ««великой мировой работы»».

При этом родному православию Чаадаев, в отличие от Печорина и других русских филокатоликов эпохи, все же остался верен, причащался Святых Тайн в православной церкви, перед смертью обратился к православному священнику и был по соответствующему обряду похоронен. Гершензон удивлялся, почему Чаадаев не перешел в католичество и формально. Да потому и не перешел, что в глазах католиков Православная церковь остается церковью благодатной, подлинной, лишь административно отщепленной от мирового церковного организма в результате неоправданных притязаний на еkkлезияльное первенство Михаила Керуллара и других византийских лидеров. Византия с ее претен-

зиями сгинула во тьме веков, но Россия эпохи Чаадаева продолжала ее дело с опасным размахом. Довольно сказать, что роковая Крымская война, обнажившая непомерность претензий Николая I на лидерскую роль в мире, формально начнется из-за того, что русский царь потребует передать православным Гроб Господень и Вифлеемский храм, бывшим по преимуществу в ведении Рима.

«Народность» в том варианте, в каком ее предлагала уваровская формула, также не могла найти в душе Чаадаева никакого отклика. История родины представилась ему тупиком, ибо «в нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу», ибо мы стоим «в стороне от общего движения, где развивалась и формулировалась социальная идея христианства». История России стало из-за этого отторжения не что иное, как «...тусклое и мрачное существование, лишенное силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании... Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя» (1-е Философическое письмо).

Иными словами, русского человека насильственно содержат в измерении «прекрасного сегодня», активно и беспощадно порабащают, причем – при посредстве церкви, забывшей о своем предназначении сделать этого человека свободным. Вот и Чаадаев задается вопросом: «что бы вышло, если бы человек мог довести свою подчиненность до совершенного лишения себя своей свободы»? Бороться против этого политически? И отвечает неожиданно: «это было бы высшей ступенью человеческого совершенства» (3-е Философическое письмо). Формула Чаадаева, несомненно, восходит к западному Отцу Церкви Августину, выдвинувшему учение о двух видах свободы: полном своеволии и отдаче себя Богу, Отцу свободы. Читаем дальше: «Я очень желал бы... чтобы вы могли усвоить себе этот отвлеченный и религиозный способ осознавать историю: ничто так не расширяет нашей мысли и не очищает нашей души так, как эти неясные замыслы провидения, властвующего в веках и ведущего человеческий род к его конечному назначению» (6-е Философическое письмо).

Понятно, что в глазах христианнейшего государя Николая I все эти писания были «смесью дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного». Но не менее понятно и другое: не в силе Бог, а в правде. И если Чаадаев избирает позицию маргинала в той системе, которую строил Николай, то тем хуже для системы. Николай еще не знает, что результатом его титанических усилий по превращению России в оплот самодержавия и сплочению общества под лозунгом «православия, самодержавия и народности», усилий по утверждению России в роли «мирового жандарма», станет поражение страны в Крымской войне, обнажившее обреченность путей, по которым он, император, эту страну заставил двигаться. Чаадаев как бы уже видит это внутренним взором, прорицая: у нас (читай: у таких нас, какими мы сегодня есть) – нет будущего.

Это был мужественный и безнадежный протест одиночки, подхватившего эстафету праведников и мучеников житийной литературы, задвинутых в тень в новой, послепетровской, секуляризованной России. Тут героями были уже «классифицируемые» цари и полководцы – наряду, впрочем, с романтическими революционерами, вырывающимися у них из рук знамя власти. Протест юродивого, говорящему в глаза царю тяжелые вещи – а ведь юродство, как известно, выше мученичества! Протест, предвещающий толстовское

«непротивление злу насилием» и ростки будущего толстовского влияния в мире, как в случае с Ганди.

Мы полагаем величайшим русским писателем Пушкина в его неизбывном своеобразии, в его вечной яростной борьбе с окружением, в его постоянной растерянности перед вопросом духовного выбора («Куда ж нам плыть?»), в его попытках «вписаться» в николаевский режим, закончившихся катастрофической дуэлью, по сути, самоубийственной.

Но рядом с ним остается в исторической тени тот, кого Пушкин смолоду бесконечно уважал: лысый, как бы от всего отстраненный, объявленный «сверху» сумасшедшим человек, не претендующий на лавры, но перед которым все невольно замолкали, смутно ощущая, что он и в самом деле из иного измерения.

Фундамент Чаадаева – древнерусская культура, древнерусская словесность, бывшая не произволением личного разума, а истолкованием библейского слова. И его «Философические письма» – не что иное, как философско-теологический трактат, король средневековых жанров, обогащенный опытом современной эссеистики в духе традиции Монтеня. Карамзин отталкивался от летописи в своей попытке верноподданнически истолковать русскую историю. Чаадаев отряхнул соблазны века сего во имя высшей правды и высшего суда.

Вот уж воистину, из русских русский...

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ироническая оценка декабристов Грибоедовым, оценка государственного мужа, дипломата, очень отчетливо перекликающаяся с чаадаевским скепсисом по отношению к декабристам.

<sup>2</sup> И это в эпоху Наполеона, вырвавшего из рук папы корону и собственноручно водрузившего ее себе на голову во время коронации! многие-то и вовсе не делали нравственных выводов из катастрофы Наполеона: вспомним о критической обрисовке «наполеонизма» как уже массового явления у Толстого и Достоевского.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Белова Л. А. Что за человек был Чаадаев? / Л. А. Белова // Московский журнал. История государства Российского. 2002. – № 8. – С. 23–27.

2. Вишленкова Е. А. Религиозная политика в России (первая четверть XIX века) / Елена Анатольевна Вишленкова. – Автореферат дисс... доктора исторических наук. – Казань: Изд-во Казанского госун-та, 1998. – 24 с.

3. Герцен А. И. Былое и думы. Части 4-5 / Александр Иванович Герцен. – М.: ГИХЛ, 1967. – 571 с.

4. Фирсов С. Л. Император Николай Павлович как православный государь и верующий христианин / Сергей Львович Фирсов // Церковь и время. – 2007. – № 3 (52). – С. 151 – 192.